



НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

# ГРАНЬ ВЕКОВ

— ЗАГОВОР ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА —

Политическая борьба в России  
на рубеже XVIII–XIX столетий



Проза истории

Натан Эйдельман

**Грань веков. Заговор против  
императора. Политическая  
борьба в России на рубеже  
XVIII–XIX столетий**

«Издательство АСТ»

1982

УДК 94(47)"17/19"  
ББК 63.3(2)4

**Эйдельман Н. Я.**

Грань веков. Заговор против императора. Политическая борьба в России на рубеже XVIII–XIX столетий / Н. Я. Эйдельман — «Издательство АСТ», 1982 — (Проза истории)

ISBN 978-5-17-151918-6

Книга известного историка Натана Эйельмана посвящена внутренней политике Российской империи на рубеже XVIII—XIX веков. Это один из интереснейших периодов нашей истории, который необратимо обозначил грань между «золотым веком» Екатерины и началом новой эпохи. Героем этого увлекательного повествования стал самый таинственный российский император. Личность сына Петра III и Екатерины Великой всегда вызывала много вопросов. Его называли русским Дон Кихотом, романтиком и одновременно тираном и «увенчанным злодеем». Трагическая гибель Павла обросла множеством легенд и изменила ход нашей истории. Подробности заговора и обстоятельства кровавого переворота описаны в данном исследовании. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47)"17/19"  
ББК 63.3(2)4

ISBN 978-5-17-151918-6

© Эйдельман Н. Я., 1982  
© Издательство АСТ, 1982

## Содержание

Часть I	6
Глава I	6
Глава II	18
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Натан Эйдельман**  
**Грань веков**  
**Заговор против императора:**  
**Политическая борьба в России**  
**на рубеже XVIII–XIX столетий**

© Н. Я. Эйдельман, текст, наследники, 2022

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022

## Часть I

### Глава I

#### Россия двести лет назад

*Мой друг, таков был век суровый.*  
**А. С. Пушкин**

В 1780-х и 1790-х годах книги и газеты напоминают о приближении нового столетия. Самое известное прощание с XVIII веком принадлежит Радищеву:

*Нет, ты не будешь забвенно,  
столетье безумно и мудро...*

Другой поэт предсказывал России:

*Се гениев твоих столетье.*

Впрочем, такого фетиша времени, какой явился потом («новый год», «новый век»), в ту пору еще не было.

В полночь с 31 декабря на 1 января чаще всего мирно почивали; чиновникам, отдохнувшим с 24 декабря по 7 января, император Павел оставил начало рождественских праздников, 24–26 декабря (когда и провожали уходящий год), а далее – только воскресные и «табельные» дни: особо торжественной встречи нового столетия ни в 1800-м, ни в 1801-м не происходило (в отличие от 1901-го и – угадываем – 2001-го!). Объясняется, на наш взгляд, это прежде всего тем, что в то время не придавали значения «мелким делениям» – минуте, секунде: у большинства жителей, ложившихся с темнотой, поднимавшихся с рассветом, ни стенных, ни каких других часов не было и в помине. В тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом деле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Сибири, на Камчатке – не по радио же?.. Одновременность была в ту пору растянутой; то, что происходило сей час на другом краю планеты, плохо воспринималось как синхронное, и, скажем, накануне рождения Пушкина «Московские ведомости» от 25 мая 1799 года печатали столичные известия от 19 мая, из Италии – апрельские, из Нового Йорка – мартовские, о предполагаемых же совместных действиях Буонапарте с Типу-султаном сообщалось еще в течение многих недель после гибели знаменитого индийского правителя в сражении с англичанами.

К тому же за сто без малого лет еще не везде привыкли считать века от рождества Христова, а не от сотворения мира, год же начинать от Василия Великого (1 января), а не от Семёнова дня (1 сентября); вдобавок, законодательница всех мод Франция недавно ввела революционный календарь и объявила началом первого века Свободы 22 сентября 1792 года.

В общем, 200 лет назад Россию не очень занимало, в каком столетии она находится...

Совсем непросто и сегодня, на закате XX века, разобраться, каково было то, позапрошрое столетие. Как представить в коротком обзоре жизнь большого народа, государства, дух и волнение давно минувшего времени?

В цивилизациях древних, скажем, фараоновском Египте, Риме, нас часто удивляют отдельные черты сходства с позднейшей эпохой. 34-вековая давность, конечно, усиливает сегодняшнюю власть скульптурного портрета царицы Нефертити; живой цветок от безутешной



юной вдовы на саркофаге Тутанхамона вряд ли привлек бы столько внимания, если бы речь шла о гробнице XVIII–XIX веков нашей эры.

Что же касается сравнительно недавних времен – 100, 200 лет назад, – тут мы, наоборот, чаще представляем прошедшее более «современным», чем это было на самом деле: ведь 1800 год от нас всего в 7–8 поколениях! И тем важнее в сравнительно недавнем прошлом вдруг заметить нечто особенно неожиданное, непривычное.

Суворов 5 мая 1799 года захватил в Италии очередную крепость, французскому же гарнизону дал «свободный выход», с тем чтобы 6 месяцев с русскими не воевать («*Моск. ведомости*», 28.V.1799).

Одним из благороднейших дел своего века Денис Иванович Фонвизин находит поступок Никиты Ивановича Панина, который из девяти тысяч душ, ему пожалованных, подарил четыре тысячи троим своим секретарям.

Известие об эпидемии, пожирающей наполеоновскую армию на Востоке, заканчивалось надеждой: «...и скоро их всех ч... поберет» («*Моск. ведомости*», 28.VI.1799). Черт – слово совершенно нецензурное.

Среди нововведений второй половины XVIII века – прежде неизвестные в российских домах самовары, первые на российских полях подсолнухи и «земляные яблоки» – картофель.

В обычае поздравлять главу враждебного государства, если он спасся от смерти. Так, Георг II Английский в разгар войны с Францией передает Людовику XV сочувственные, дружеские слова по поводу покушения на его жизнь; однако к концу столетия, по мнению русского посла в Англии С. Р. Воронцова, происходит упадок этикета: Бонапарт и Павел I не посылают поздравлений своему врагу Георгу III Английскому (тоже спасшемуся от убийцы), зато Георг III не поздравляет Павла с рождением внуки.

И еще два эпизода – не из второй, из первой половины XVIII века, но характерные для всего столетия.

Почти исчезли, будто провалились в подземное царство, сведения о мощном восстании в Таре (Западная Сибирь) и многолетней экзекуции, через которую прошло до 2 тысяч человек – из них около двухсот умерло под наказанием. Сверх того более тысячи человек покончили с собой... Огромное по тем масштабам дело в сущности открылось только через 250 лет (Покровский, с. 34–66).<sup>1</sup>

Взойдя на престол, Елизавета Петровна посылает на Камчатку штабс-фурьера Шахтурова, с тем чтобы он доставил к ее коронации (то есть через полтора года) шесть пригожих, благородных камчатских девиц. Представления царицы о размерах собственной империи были приблизительными: только через 6 лет (и на 4 года позже коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на обратном пути Иркутска... (ПБ, ф. 874, оп. II, № 301).

Часть приведенных подробностей формально не очень важна, анекдотична, второстепенна, но приближает удаленного на века исследователя к его главной, по сути, цели: понимание, «общему языку» с прошлым; напоминает об осторожности, осмотрительности даже в сравнительно недалеком историческом путешествии.

## Пространство

11 декабря 1796 года в Иркутске начались соборный благовест и пушечная пальба в честь нового императора: рано утром примчался правительственный курьер (начиная с Павла, он будет именоваться фельдъегерем), который всего за 34 дня преодолел расстояние в 6 тысяч верст от столицы на Неве до губернского города на Ангаре. Больше месяца Иркутск жил под

---

<sup>1</sup> Здесь и далее см. в конце книги полное библиографическое описание использованной литературы.

властью умершей Екатерины II. Камчатка же присягнет только в начале 1797-го (см. *«Иркутская летопись»*, 143).

6 тысяч верст, разделенные на 34 дня, около 180 верст в сутки, – курьерская скорость... С древнейших времен до первых паровозов максимальной скоростью человеческого передвижения была быстрота лучшего коня или тройки, колесницы: примерно 20 километров в час на коротком пути, и меньше, если делить длинные версты на долгие часы. Поэтому в 1796 году Россия – страна огромная, медленная (в 30–40 раз медленнее и, стало быть, во столько же раз «больше», чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного гоголевского городка «три года скачи – ни до какого государства не доедешь». Между тем солидные путешественники только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде – чем важнее, тем медленнее: воевода из Москвы в Якутск, «на новую работу», ехал в 1630-х годах не торопясь, пережидая разливы и чрезмерные холода, ровно три года (средняя скорость – 7 верст в сутки). В XVIII–XIX веках медленная езда подобает только царской фамилии. Сохранилось расписание 1801 года, относящееся к приезду Александра I из Петербурга в Москву на коронацию (сходный порядок был и при коронациях XVIII века): в первый день кортеж проходил 184,5 версты (ночуют в Новгороде), во второй – 153 версты (ночуют «в Валдаях»), на третий – всего 92 версты (сон в Вышнем Волочке), на четвертый, отдохнув, – 134 версты до Твери; на пятые сутки экипажи пройдут 113 верст до Пешек, на шестые – всего 50 до загородного Петровского дворца, и оттуда, только на седьмой день, «имеет быть торжественный въезд в столичный город Москву» (*ЦГАДА, р. V, № 206, л. 72*). Медленности выездов соответствовало и долгое возвращение, так что еще в 1750-х годах улицы северной столицы зарастали травой, пока двор и множество сопровождающих и сопутствующих не перемещались обратно, на берега Невы.

Огромная страна под властью свирепейших морозов. В северном полушарии за последние три-четыре века самое лютое время – XVIII столетие: в феврале 1799 года в Петербурге в среднем «29 с половиной по Реомюру», то есть 37° по Цельсию.

Огромные расстояния – немаловажный элемент истории, социальной психологии страны, то, что еще ждет освоения великой литературой XIX века. Пока же обширные территории – весьма широкое основание для политических обобщений. «Российская империя, – запишет Екатерина II в важном и секретном документе, – есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях...» (*РИО, VII, 345*). Из этого царица выводила мысль о желательности для таких диких просторов разумного самодержца-просветителя, но находила «неудивительным», что Россия «имела среди правителей много тиранов».

На огромных пространствах империи за год до смерти Екатерины II проживает 18,7 миллиона душ мужского пола, общее же число подданных приблизительно устанавливалось удвоением: 37,4 – около 40 миллионов россиян, из которых треть в нечерноземном центре, много – в западных и юго-западных губерниях, но чем дальше на юг, а особенно на восток, тем глуше, просторнее... На всю Сибирь, сложив души двух гигантских генерал-губернаторств (Тобольского и Иркутского), удвоив, прибавив кочевые кибитки коренных, местных обитателей, едва набирался миллион (*Клочков, 416*).

Заселить – приманкой, насильно, как угодно – пустующие пространства. Екатерина так увлеклась этой идеей, что серьезно отнеслась к плану Потемкина выпросить у английского правительства приговоренных к каторжным работам для освоения причерноморских степей. Посол в Лондоне Семен Воронцов гордился тем, что сумел остановить эту «благодетельную меру» (*АВ, XI, 178*).<sup>2</sup>

40 миллионов человек; если же вычислять, «кому на Руси жить хорошо», если попытаться сосчитать «правлящих» (дворяне, по крайней мере с офицерским чином, соответственно

---

<sup>2</sup> Здесь и далее перевод с французского не оговаривается.



чиновники с VIII класса и выше, плюс верхний слой духовенства и зажиточные неслужащие землевладельцы), то получим более 200 тысяч (или – семейно – 400 тысяч), то есть примерно один процент.

Один к ста. Можно указать и приблизительный уровень благосостояния «правлящего процента»: на одного владельца приходится в среднем 100–150 крепостных (400–500 рублей годового оброка); столько же, примерно 300–450 рублей, составляло и годовое жалованье у чиновников VIII класса и жалованье штаб-офицеров.

Исходными данными для этих расчетов были сведения о численности в 1795–1796 годах: чиновников – 15–16 тысяч, в том числе около 4 тысяч с I по VIII класс дворян – 224 тысячи духовенства – 215 тысяч (по данным К. Германа), офицеров – 14–15 тысяч (исходя из известного числа генералов – 500 и из обычного для русской армии XIX века соотношения генералов и офицеров 1:30) (см. *Зайончковский, гл. 4; его же. Правит аппарат, 66–67*).

Внутри же «одного правящего процента» свой один процент: высшие среди высших. Это 300–400 чиновников I–IV класса, то есть статских генералов, и 500 генералов военных.<sup>3</sup>

Генералы (не все, конечно) составляют значительную часть тех избранников судьбы, тех 700–800 человек, у кого более 1500 крестьян (и в ответ на обычную просьбу пожаловать еще крепостных душ Екатерина II, непрерывно жалуя, ворчит: «Уж столько пожаловано, что уж мало остается, что жаловать». – *AB, XXVIII, с. 25*).

Тут начинается мир, где обыкновенное парадное платье, например, Потемкина стоило 200 тысяч рублей, то есть годового оброка 40 тысяч крепостных; где зажигали на балах до 100 тысяч свечей; где «тарелки спускались сверху, как только дергали за веревку, проходившую сквозь стол; под тарелками были аспидные пластинки и маленький карандаш; надо было написать, что хочешь получить, и дернуть за веревку; через несколько минут тарелки возвращались с требуемым кушаньем» (*Дубровин, I, 200; Головина, 43*).

Около 40 миллионов жителей и огромное пространство с максимальными скоростями передвижения 10–20 километров в час... Как редкие острова в снежном равнинном океане – города, городки (к концу царствования Екатерины II их было 610), однако каждый третий (230 городков) был разжалован Павлом в селения и местечки.

Всего шесть душ из каждой сотни – городские жители, а 94 из 100 – селяне.

Как мелкие островки, скалы, камни – деревни по 100–200 душ, и 62 из каждой сотни – крепостные. А на всю империю никак не меньше 100 тысяч деревень и сел, и в тех деревнях известное равенство в рабстве (80 % тогдашних российских крестьян – середняки); но высшей мерой счета было у тех людей 100 рублей, и «кто имел 100 рублей, считался богатеем беспримерным» (см. *Ковальченко. Крестьяне*). Деревеньки, в нелегкой борьбе отвоевывающие у дикой природы новые пространства (в одной Западной Сибири за XVII и XVIII века добыли 800 тысяч десятин пашни и сами себя обеспечили хлебом).

100 тысяч деревень, оживающих при благоприятном «историческом климате», но зарастающих лесом, исчезающих с карт целыми волостями после мора, голода, а еще чаще – после тяжелой войны или грозного царя.

### «Неминуемое следствие...»

Хорошо бы не торопясь пройти по деревенькам, городкам, имениям, скитам, столицам, окраинам гигантской империи, где, согласно оглавлению «Самого новейшего, отборнейшего московского и Санкт-Петербургского песельника» (Москва, 1799), звучали в ту пору

<sup>3</sup> Вычислено по изданию «Список армейскому генеральству по 30 апреля 1799 года» с рукописными дополнениями, явно относящимися к тому же времени. – *Государственная историческая библиотека, ОИК, конволют № 707*.

«песни военные, театральные, простонародные, нежные, любовные, пастушьи, малороссийские, цыганские, хороводные, святошные, свадебные...».

Однако подробный разбор разных пластов той империи, во-первых, здесь невозможен, во-вторых, уместен в следующих главах, когда речь пойдет о переменах, коснувшихся народа и общества в последние годы XVIII столетия; в-третьих же, читатель так много знает о русском XVIII веке, что можно порою опереться на эти знания, определяя основной смысл, дух, стержень эпохи. В этом случае, как и во многих других, полезно посоветоваться с гениальным российским поэтом-историком Александром Сергеевичем Пушкиным, особенно учитывая его близость к изучаемым временам и чрезвычайный к ним интерес. Современники свидетельствуют, что разговор о предшествующем столетии был для Пушкина из самых приятных...

«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон (...) История представляет около его всеобщее рабство...» (*Пушкин, XI, 14*). Двадцатитрехлетний кишиневский чиновник формулирует основной парадокс прежнего века: просвещение и – рабство...

Под просвещением имеются в виду, конечно, не только школы и книги, но целая система изменений, реформ, преобразований в экономической, политической, военной, правовой, культурной, духовной сфере...

Казалось бы, самодержец-просветитель, просвещая, ведет мину под свой режим: «свобода – неминуемое следствие...». Но – не боится, «доверяет своему могуществу», «презирает» и как будто не ошибается: просвещение и «всеобщее рабство» как-то уживались, и автор недавно обнаруженной «Благовести», удивительного по смелости документа 1790-х годов, восклицает: «И что только ни устроено и сделано – города, флоты, армия, и все, что ни есть, вашими руками устроено, вашим потом чела вся Россия питается и кормится, от неприятеля сохраняется отечество, а вы...». А вы?...<sup>4</sup>

Ответ точен и печален: «...сколько ж помещик или господа ваши съедают напрасно ваших трудов, сколько, рассердись на лошадь или кого-нибудь, человек убил, за собаку человеку жизнь отнял, за недозволение на блуд дочери или жены не один убит, что так погублено вашей братьи невинно и миллионы наберутся, а сколько на каторге, в неволе, в заточении находится неповинных людей, счислить нельзя!» (*Клибанов, 319*).

Свобода и рабство – при том, что употребление уничижительного «раб», «раб твой» запрещено Екатериной II и уж сочинена «Ода на истребление в России названия раба...» («Красуйся радостью, Россия, Восторгом радостным пылай...» и т. д.). Свобода и рабство, но разве подобные характеристики – о социальных контрастах, о золотых дворцах и бедных хижинах, о мудрых книгах и миллионах безграмотных, о свете прогресса и мгле деспотизма – разве они не являются обязательной принадлежностью истории любого народа? Разве не так в Японии, Перу, Вавилоне?

Так и не так. Подобные парадоксальные сочетания старого и нового вряд ли встречались в XVIII столетии в другой стране. В российском варианте кое-что кажется совершенно самобытным. Некоторые петровские издания выходили, например, огромными тиражами, в 10–15 раз больше того, что печаталось при Пушкине, – тиражами, из которых 9/10 сгнивало на складах, но все же 1/10 брали читатели. Выходило – как слепых котят к молоку, силой: «Нате, вкушайте, попробуйте не вкусить...» Тем не менее за последнее тридцатилетие XVIII века выходит около 7 тысяч книг (общим тиражом около 7 миллионов экземпляров), существует около 100 периодических изданий (*Лунтов, 103–104; Штрэнге, 21*).

---

<sup>4</sup> Шляхтич Еленский, которого А.И. Клибанов считает народным идеологом, а П. Г. Рындынский – «просветителем, обращавшимся с проповедью своих взглядов к народу как бы извне» (*История СССР, 1979, I, 223*).

Или из устава кунсткамеры, согласно которому любому посетителю подавалось угощение – лишь бы зашел!

Итак, первая самобытная особенность XVIII века – быстрота перемен, идущих в немалой степени сверху, от престола.

«Петровский взрыв», когда число мануфактур за одно царствование вырастает в 7 раз; когда со своими 10 миллионами ежегодных пудов чугуна (155 тысяч тонн) страна выходит к 1800 году на первое место в мире и гениально созданная, крутым кнутом погоняемая телега несется пока что быстрее английского паровичка; и Пушкин говорит о «вдруг» явившейся российской словесности, а серьезный критик российского прогресса М. М. Щербатов полушутя, полусерьезно исчисляет в 1770-х годах, «во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы», и выходило, что вместо сорока петровских лет понадобилось бы 210 и страна лишь в 1892 году достигла бы петровских результатов, если б «не помешали внешние обстоятельства» (*Щербатов, II, 13–22*).

Но быстрота не единственный признак российского XVIII века.

Два полюса – «рабство» и «просвещение» – после «петровского взрыва» резко отодвигаются друг от друга на большое социальное расстояние, и притом друг другу «как бы не мешают». Больше того, и цивилизация, и рабство усиливаются синхронно: пересекаясь и переплетаясь, одновременно вступают в российскую историю школы и рекрутчина, Академия и подушная подать; календари, грамматики, учебники, переводы, и право помещика ссылать крестьян в Сибирь, и гордость палача за умение тремя ударами кнута лишить жизни (*см. Тучков, 140*). К важнейшей для российского просвещения дате – рождению Пушкина – в его родном городе продается «лучшего поведения видный пятидесятилетний лакей, да ямских кучеров два и разного звания люди», да «в Тверской Ямской в доме ямщика Андрея Маслова продается повар 24 лет с женою 18 лет и малолетней дочерью» (*«Моск. ведомости», 25.V.1799*). По тонкому наблюдению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, очень часто как раз более просвещенные были в том веке не самыми гуманными...

Если представить весь тогдашний мир, мы увидим страны не меньшего, может быть, а большего социально-политического рабства (Турция, Персия, Китай), но солнце просвещения стоит над ними в ту пору довольно низко: господа и рабы там как бы скреплены общей цепью застоя... Легко найдем на карте XVIII века и края более «просвещенные», куда Петр ездил учиться; но такого рабства, как в России, они не знали, развивались не столь взрывчато, и пропасть между дворцом и хижинкой была заполнена «мещанством», «третьим сословием», буржуазией с ее мануфактурами и компаниями...

В России же купец – либо еще не оплативший волю крепостной Савва Морозов (чья «мануфактурная фабрика» в Зуеве основана в 1797 году, когда он еще был крепостным ткачом); либо Демидов, успевший получить дворянство и все крепостнические права, или таковой же прадед Н. Н. Пушкиной Гончаров; либо купчики вольные, некрупные, мечтающие попасть в Демидовы, но пока что робкие: такие, кого тамбовский комендант Григорьев за плохой товар «бил из своих рук натурально тростью по всей их одежде» (*ЦГВИА, ф. 8, оп. 10199, № 530, 1800 г.*). Система, которая, как знаем по гоголевскому «Ревизору», и полвека спустя не слишком переменится.

17 копеек в год тратит на покупки среднестатистический житель империи (через полвека будет в 20 раз больше – *см. Яцунский, 100*). И это один из показателей, как слабо еще была «разъедена» товарностью, капитализмом натуральная толща российской жизни, – то, о чем еще в 1836 году будет толковать прозорливый Александр Тургенев, надеясь, что «отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся» (*Лит. архив, I, 85*).

Итак, сравнительно малая российская «буржуазность», стремительная быстрота просвещающих реформ, неслыханный, причудливый исторический контраст рабства и прогресса.

Как и почему именно в России так получилось – не здесь рассуждать: ответ ведет в глубины истории.

Пока же приведем характерные факты, число которых легко удесятерить. Грамотный человек, но совершивший два доказанных убийства и за них осужденный, назначается судьей в сибирский город Тару, ибо для должности нет людей (и в том уезде бесчинствует не «яко тать», а просто «тать» – см. *Покровский, 35*).

Анна Иоанновна отменяет назначенную казнь из-за улучшения погоды.

Камердинер, который дежурит у дверей Елизаветы Петровны, обязан прислушиваться и, когда императрица закричит от ночного кошмара, положить ей руку на лоб и произнести «лебедь белая», за что сей камердинер пожалован в дворянство и получает родовую фамилию Лебедев.

Петербургский обер-полицмейстер Татищев предлагает безвинно пострадавшим выжигать перед незаслуженным клеймом «вор» частицу «не»: «Не – вор» (*РБС, А. Д. Татищев*).

Молодой Николай Раевский, будущий герой 1812 года, учится вместе с друзьями переплетному делу, чтобы прокормиться, когда придут санкюлоты и революция все сметет; однако даже в фантастическом сне ему не вообразить, что революция явится не из дальних краев, а в собственном его семействе (зять Волконский – в декабристы, дочь Мария – в декабристки).

Парадокс, так сказать, в природе вещей...

А ведь пушкинская формула «Свобода – неминуемое следствие просвещения» верна: не минует...

*И над отечеством свободы просвещенной  
Взойдет ли наконец прекрасная заря?..*

Взойдет, но когда? Завтра? Через 10, 50, 100 лет?..

«Пушкинский путь» к свободе просвещенной – первая естественная реакция просвещенного человека на невыносимый петровский «дуализм»: неслыханное сочетание мглы и света, по Пушкину, не удержится, свет одолеет. Петр I «не страшился...», но уже через одно-два поколения появляются серьезные головы, которые веруют в просвещение и еще раз в просвещение и что с его помощью можно в конце концов исправить все – и политику, и «поврежденные нравы», и (когда-нибудь) рабство!

Просветители – в самом широком, «пушкинском» смысле этого слова. С самого начала эти серьезные люди по-разному представляют себе тот способ, каким все исправится. Тут и Новиков, и Фонвизин, и Никита Иванович Панин, и княгиня Дашкова, и Щербатов, хотя и вздыхавший по прежней, «неразвращенной», допетровской старине, но видевший, что даже эти критические мысли – один из «плодов просвещения». «Могу ли, – восклицает он, – данное мне им (Петром I) просвещение, яко некоторый изменник похищенное оружие, противу давшего мне во вред обратить?» (*Щербатов, II, 29*).

Большинство российских просветителей, как мы знаем, не договаривалось до отмены рабства (некоторые, как известно, были на практике изрядными крепостниками) – только до «улучшения нравов», до смутных упований на будущие успехи просвещения.

Но сейчас нам не важны подробности их теорий, их различия между собою. Скажем только: появлялись люди – и голос их был слышен, – которые были идейными просветителями, серьезно верили в грядущее преодоление «петровской двойственности» за счет развития одного из двух полюсов – Просвещения.

Одно время им казалось, что правительство Екатерины, заигрывающее с французскими просветителями, хочет того же. И царица ведь действительно хотела известной европеиза-

ции дворянства – в его собственных интересах и государственных, иначе ведь можно отстать, попасть за борт истории («Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения». – *Пушкин, XI, 14*). Царица, однако, вела к такой европеизации, которая (еще раз повторяем) не касалась бы рабства, даже срашивалась с ним. И в этом смысле Екатерина – верная наследница Петра: хотела столько просвещения и такого света, чтобы не страшиться его «неминуемого следствия...». Но с каждым десятилетием все труднее было «не страшиться...».

Птенцы гнезда Петрова за пределы тактики, арифметики, грамматики, фортификации, промышленности почти не вылетали в сферы вольности конституции, крестьянской свободы; в течение же екатерининских 34 лет царице пришлось во многих сподвижниках разочароваться, кое на кого из просвещенных прикрикнуть, а иных – Новикова и Радищева – упрятать поглубже.

Впрочем, само явление Радищева – симптом, что дело заходит далеко, что «неминуемое» не миновало, да еще все это происходит под звуки французских якобинских песен и пушек, напоминая о возможном будущем России, торопящейся за передовыми державами.

Многokrатно отмечалось радищевское одиночество, хотя сейчас деятельность нескольких менее известных его современников понята как родственная идеям Радищева (пускай он сам об этом родстве большей частью не знал, да мы знаем!). Одиночество его было отражением того факта, который точно проанализировал великий мыслитель, хорошо знавший и помнивший предания и размышления отцовских и дедовских времен.

«Наука, – писал А. И. Герцен, – процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось, – великой революционной идеей все еще была реформа Петра. Но власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен» (*Герцен, VII, 192*).

Лучшие люди, просветители, еще надеялись на власть, несмотря на испытанное разочарование; сохраняли до конца известные иллюзии насчет Екатерины II, несмотря на явный поворот «от Европы» в последние семь лет ее царствования. Соучастие «идейных поручиков», активной дворянской интеллигенции в военных, административных, культурных делах Екатерины, Александра I – один из секретов тогдашних успехов. Среднее офицерское звено, как и «генеральство», действовало в ту пору сильно, удачно, убежденно...

Разглядывая портреты видных деятелей конца XVIII – начала XIX века, изучая их переписку, мы улавливаем нечто важное в общем стиле эпохи, того времени, которое уходило вместе с подобными людьми. Разумеется, и после 1825 года не исчезает, скажем, тип умного, смелого, независимого генерала. Однако таких все меньше, таким все труднее... После 1812 года и особенно 1825-го люди с такими лицами, какие еще преобладают в «Военной галерее 1812 года», – они все больше в отставке, опале, даже если и в мыслях были далеки от участия в освободительной борьбе. Все больше лишних людей, тогда как в конце XVIII – начале XIX века «лишних» нет. «Прозаическому осеннему царствованию Николая, – заметит Герцен, – нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советчики, вестовые, а не воины». В хмурые николаевские времена резко увеличивается средний возраст, необходимый для достижения генеральских чинов. Молодые командующие 1800-х годов – это не только следствие их титулов, домашних связей, но и знамение времени. Ускоренное выдвижение дворянской молодежи вообще делало тогдашних начальников сравнительно более юными (средний возраст приобретения генеральства, вычисленный по материалам книги В. М. Глинки и А. В. Помарнацкого «Военная галерея 1812 года», составил 35 лет). Тут, конечно, играли роль частые войны, ускорившие движение чинов, да и притом еще не был исчерпан петровский молодой порыв, когда 30-летний генерал, посол, 35–40-летний министр – явление обыкновенное, а полвека спустя, во времена Николая I, – крайне редкое, почти невозможное.

Зато вместо лучших людей, уходящих в ссылку, опалу, молчаливую оппозицию, вместо Чаадаевых, Ермоловых, вместо Онегиных, Печориных приходят в ту пору иные. Причина же военных и прочих неудач не только в отсталой технике, но и в постепенном распаде союза между властью и активной дворянской интеллигенцией.

Идейность! Дело не просто в классовой, дворянской идейности крепостника (она имеется и у Скотинина, и у Салтычихи!). Просвещенные люди, сознательно, убежденно помогающие власти, – большая, хотя часто и невидимая сила; а она в XVIII веке существовала, ибо несколько десятилетий политических и личных свобод, дарованных дворянству (конечно, за счет миллионов крепостных), – все это не прошло даром: прямо из времен «петровской дубинки» и бироновских зверств не могло явиться столько людей с мыслями и достоинством; для декабристов и Пушкина требовалось 2–3 «непоротых» дворянских поколения. Таких «нормальных» – не очень теоретизирующих, но уже усвоивших определенные просвещенные принципы людей – было в конце XVIII века совсем не так мало, как может показаться из перечня крепостнических ужасов эпохи. Идейные, просвещенные союзники власти, разделявшие формулу известного государственного деятеля И. И. Бецкого: «Корень всему злу и добру – воспитание», – перечисляя подобных людей, назовем, естественно, лучших полководцев и флотоводцев, государственных и культурных деятелей – Суворова, Дашкову, Ушакова, Баженова...

О сенаторе князе Иване Владимировиче Лопухине (1756–1816) много лет спустя будет сказано, что «его странно видеть среди хаоса случайных, беспцельных существований, его окружающих: он идет куда-то, а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл» (*Герцен, XIV, 299*).

Всю жизнь сенатор проведет в спорах с высшими начальниками, даже с царями, требуя смягчения, облегчения наказаний, и при всем этом останется в уверенности, что «в России ослабление связей подчиненности крестьян помещикам опаснее самого нашествия неприятельского...» (*Лопухин, 123*).

Не увлекаясь, однако, перечнем людей знаменитых, задумаемся хотя бы о такой категории, как родители будущих декабристов. Судя по воспоминаниям деятелей первых тайных обществ, у большинства родители были отнюдь не звери-крепостники (своим отрицательным примером как бы бросавшие сына в объятия вольности), но хорошие люди, исповедовавшие, как отец Якушкина, ценный принцип: «Бога бойся, царя чти, честь превыше всего». Сходно писал о себе в 1807 году, накануне смерти, участник заговора против Павла I Д. В. Арсеньев: «Любил друзей, родных, был предан государю Александру и чести, которая была для меня во всю мою жизнь единственным для меня законом» (*Марик, 385*).

Честные, культурные поручики, капитаны, вроде Петруши Гринева (достигавшие, впрочем, и высоких чинов, должностей), – таково было многочисленное старшее поколение Муравьевых, таковы были (при всей противоречивой сложности иных характеров) родители Бестужевых, Розена, Горбачевского, М. Фонвизина, Волконского, Штейнгеля, Чернышева, Лорера...<sup>5</sup>

Итак, завершая рассуждение о первой группе русских людей (по ее отношению к петровскому дуализму «просвещение – рабство»), констатируем: среди просветившихся (дворян, разночинцев) сравнительно немало хороших людей, идейных, сознательно или подсознательно желающих нового просвещенного прогресса или просто верящих в него... Постепенно вырабатывается тот гуманный, внутренне свободный, интеллигентный слой, которому предстоит играть выдающуюся роль в истории и культуре следующего столетия, в формировании дворянской революционности.

---

<sup>5</sup> Художественный образ одного из «дедов» создан одним из «внуков». Особенности литературы XVIII века ограничивали соблазнительную для историка возможность пользоваться «реалистическими типами», взятыми у писателей – современников событий. Мы можем говорить о «пушкинской России», «гоголевской», «чеховской», но невозможно в том же ключе представить Россию «державинскую» и «фонвизинскую».



Вторая значительная группа российского просвещенного слоя иначе относится к «кореным вопросам». Тут находим Екатерину II, Потемкина, Орловых, многих фаворитов, немалое число дворян на службе или в имениях – тех, кто хочет сохранения петровского раздвоения, чтоб оставалось – в широком смысле – как есть, чтоб не страшиться никаких «неминуемых следствий...». Они хотят «выгод просвещения» (не отстать от Европы) и хотят сохранить рабство в экономике и политике.

На несколько десятилетий раньше подобный взгляд Петра был идейным, исходящим из интересов общих, «того, что лучше для отечества». Старая фразеология сохранилась и полвека спустя, хотя и поблекла, – достаточно сравнить торжественные речи 1710-х и 1770-х; но два обстоятельства уже не позволяют Екатерине и ее сторонникам избежать той или иной степени цинизма.

Во-первых, рост общей культуры, уроки Вольтера, растущая способность образованных людей к резкому анализу.

Во-вторых, откровенность, обнаженность российских полюсов, недостаток характерных для западного общества плавных переходов, «полутонув», что позволяет разумному человеку многое заметить и понять. К тому же образованный дворянин неплохо знает народ (много лучше, чем, скажем, буржуа), потому что все время имеет с ним дело: как помещик – с крестьянами, как офицер – с солдатами. (Не хотим отвлекаться, но заметим, что эта чрезвычайная прозрачность российского воздуха, кричащая обнаженность российских противоречий, вероятно, – одна из причин появления в стране людей, которые прозорливостью и ясновидением вскоре удивят весь мир, – мы говорим о великих русских писателях...)

Однако вернемся ко второй группе «просвещенных россиян» – к правящим циникам.

Потемкин бьет в лицо полковника и, заметив наблюдающего иностранца, объясняет: «Что с ними делать, если они всё терпят?»

У каждого крестьянина в супе курица, у некоторых – индейка, – объявляет царица к сведению Европы после путешествия по Волге; но именно на этих берегах через несколько лет появится Пугачев.

Тартюфская ложь Екатерины, потемкинские деревни – все это не объяснить просто тем, что Екатерина и Потемкин двоедушны... Это отражение их программы, где желали совместить то, что исторически не сходится.

Вопрос о том, устраивал ли Потемкин «декорации», фальшивые поселения при проезде царицы на юг, в лучшем случае не решен. Е. И. Дружинина слишком легко отводит свидетельство Ланжерона как «не имевшего возможности наблюдать этот край при Потемкине» (*Дружинина*, 38). Между тем новороссийский генерал-губернатор, правивший 30 лет спустя, имел как раз немалые возможности для сбора весомой информации, как это и видно из соответствующих страниц его записок (*ПБ*, ф. 75, № 273, л. 564–565).

Дело, однако, не в буквальном смысле отдельных эпизодов.

Как отмечает Я.Л. Барсков, один из лучших знатоков екатерининского правления, «ложь была главным орудием царицы; всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, гувернантку, мужа, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков» (*ЛБ*, ф. 16, XVII, № 7).

Французский посол Бретейль, наблюдая, как Екатерина II афиширует свое горе и слезы по поводу гибели ненавистного ей супруга, заметил: «Эта комедия внушает мне такой же страх, как и факт, вызвавший ее» (*М. Фонвизин*, 26, прим.).

Ложь в природе вещей. Разумеется, жизнь тысячекратно обогащала предлагаемую схему (упрощенную, но необходимую для анализа!). Редко попадались «химически чистые» типы прогрессивного просветителя или циника, в разных дозах и то и другое присутствовало во множестве людей из верхнего слоя страны. Разве мог бы держаться и десятилетиями давать плоды тот союз лучших людей с властью, о котором уже говорилось, если бы многие лучшие люди не

закрывали глаза на жестокий цинизм верхов или не принимали бы частицу того цинизма? Так же, как не были абсолютно циничны ни Потемкин, ни Екатерина.

Итак, мы представили два типа дворянской идейной ориентации: просвещенный прогресс – циническое *status quo*.

Существовал, наконец, третий подход к взрывчатой антиномии «просвещение – рабство»: взгляд консервативный, отрицающий в большей или меньшей степени те пути просвещения, которыми двигалась новая Россия; носители подобных идей были склонны к идеализации старины, настороженно относились к «нужной, но, может быть, излишней реформе Петра». Цитата взята из потаенного сочинения М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России». Этот замечательный в своем роде документ был составлен в 1786–1787 годах и представлял развернутую консервативную критику «просвещенного абсолютизма».

«Мы подлинно, – писал Щербатов, – в людкости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей. Но тогда же гораздо с вящей скоростью бежали к повреждению наших нравов» (Щербатов, II, 133).

Историк писал об «изгнанной добродетели» и бичевал пороки своей эпохи с такой энергией, что серьезно «задел» девять особ царствующего дома, а более всего – Екатерину II.

Щербатов был не единственным просвещенным консерваторм XVIII столетия. Разврат, тартюфская ложь екатерининского правления не раз вызывали критику с позиций «старинной нравственности»; такие деятели, как И. В. Лопухин, Н. И. и П. И. Панины, Д. И. Фонвизин, играя видную просветительскую, прогрессивную роль, не раз притом мечтали о движении к будущему как бы «через прошлое», о реставрации утраченной патриархальной нравственности и ряда старинных институтов (весьма знаменательно, что герой «Недоросля», отвергающий непросвещенное свинство Простаковых, Скотининых, именуется Стародумом!).

А.И. Герцен, оценивая много лет спустя общественно-политическую позицию Щербатова, колебался и впадал в любопытное противоречие. С одной стороны, он находил, что Щербатов представляет традицию темной старины (идушую от стрельцов, царевича Алексея и др.), что его «натянутый, старческий ропот (...) замолк без всякого отзыва» (Герцен, XIV, 52).

Но в то же время Герцен находит в авторе «Повреждения нравов...» своеобразного предтечу славянофильства и таким образом вводит его в рамки современной культуры и просвещения (см. Герцен, XIII, 273). Действительно, образованнейший мыслитель М.М. Щербатов принадлежит новому времени и не может быть отнесен к «старинным невеждам». По многим коренным вопросам расходясь, например, с Радищевым, Щербатов сходен с ним в одном: что «по-екатеринински», «потемкински» жить нельзя; поэтому, соединяя «Путешествие из Петербурга в Москву» с «Повреждением нравов...» в одном конволюте (изданном Вольной русской типографией в 1858 году), Герцен замечает: «Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны» (там же, 272).

Малоизученные проблемы дворянской консервативной оппозиции XVIII века особо интересны и важны для нашего изложения. Разбор подобных идей позволяет произвести известное (очень осторожное, но необходимое) сопоставление «просвещенного консерватизма» и своеобразных консервативных черт народной, крестьянской идеологии.

Разве образованное общество составляло большинство страны? Разве не было миллионов людей, не отделявших просвещение от порабощения, людей, ненавидящих в просвещении ту цену, которую за него берут?

Речь идет о мнении народном, о том трагическом противоречии, что «народ не делает разницы между людьми, носящими немецкое платье» (Чернышевский, X, 92); о том, что побудило, например, Пугачева и его сторонников не увидеть разницы между ученым-астрономом

Ловицем и другими «барами»: «Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, (Пугачев) велел его повесить поближе к звездам» (*Пушкин, IX, 75*).

«Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр» (*Пушкин, XI, 14*). Автор приведенных строк через 12 лет уточнит, каково было «пугачевское равнодушие» народа к своим барам...

Но разве дворяне-консерваторы «в простоте» примкнули к «народным идеалам», отвергающим систему Екатерины? Отнюдь нет... Однако существование двух социально полярных точек зрения, отрицающих (каждая по-своему!) «потемкинское» время, порождало, как увидим, внезапные причудливые, очень сложные пересечения двух типов консерватизма, своеобразные их апелляции друг к другу.

Изучение малоизвестных российских консервативных идей помогает, по-видимому, понять происхождение и сущность такого сложного, спорного исторического явления, как «павловская политика».

## Глава II

### «Бедный князь...»

*Завоюй земной весь шар,  
Будь народам многим царь,  
Что тебе-то помогает,  
Если внутри душа рыдает?  
Когда ты невесёл,  
То все ты подл и гол.*

*Г. Сковорода*

Среди документов министерства юстиции более столетия хранился в запечатанном пакете любопытный дневник 19-летнего великого князя будущего Павла I. Дневник молодого человека, записывающего (в июне 1773 года) свои переживания, свою «радость, смешанную с беспокойством и неловкостью» при ожидании невесты, «которая есть и будет подругой всей жизни... источником блаженства в настоящем и будущем». Прощаясь с холостой жизнью, юноша грустит, что отныне исчезнут его беспечные отношения с кружком старых друзей, и «не находит слов», когда мать представляет ему ландграфиню Гессен-Дармштадтскую и ее дочерей: Павлу, как Парису, предлагают выбрать одну из трех гессенских принцесс, привезенных на смотрины.<sup>6</sup>

Расставшись с ними, великий князь первым делом отправляется к любимому наставнику графу Никите Ивановичу Панину – узнать, как он, Павел, себя вел и доволен ли им Панин. «Он сказал, что доволен, и я был в восторге. Несмотря на свою усталость, я все ходил по моей комнате, насвистывая и вспоминая виденное и слышанное. В этот момент мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгельмине, которая мне больше всех нравилась, и всю ночь я ее видел во сне».

Наивные, сентиментальные излияния, типичные для просвещенного молодого человека 1770-х годов. Судя по этому и некоторым другим документам, наследник не склонен к цинизму и таким образом уже бросает известный вызов весьма развращенному екатерининскому двору.

Родившийся 20 сентября 1754 года сын Петра III и Екатерины II, казалось бы, имел немало прав занять со временем российский престол: как правнук Петра Великого, как мужской представитель династии в противовес частому «женскому правлению»; однако закон о престолонаследии, принятый Петром I, позволял царствующему назначить наследника по своему выбору. Задуманный как усиление прав самодержца, этот принцип в русском политическом контексте XVIII века обратился в свою противоположность, увеличил шансы разных претендентов на престол и обострил борьбу за власть. Одним из элементов той борьбы была разнообразная дискредитация конкурентов, распространение компрометирующих «династических слухов». Еще в раннем детстве Павел Петрович многое увидел и еще более – услышал.

Слух о том, что отцом его был не Петр III, а граф Салтыков, позже осложняется легендой, что и Екатерина II не была матерью великого князя (вместо рожденного ею «мертвого ребенка» будто бы доставили по приказу Елизаветы Петровны грудного «чухонского» мальчика). Происхождение этих версий – плоды сложных политических интриг и дворцовых тайн – затронуто в литературе (Эйдельман, с. 161–192); крупнейший знаток потаенной истории и литературы XVIII века Я. Л. Барсков полагал (сопоставляя разные редакции «мемуаров» Екатерины II),

---

<sup>6</sup> ЦГАДА, р. I, № 70. Текст был в 1928 году переведен с французского и подготовлен к печати А. Л. Вейнберг. – ЛБ, ф. 369, 378.36.

что царица сознательно (и успешно!) распространяла версии о «незаконности» происхождения своего сына. Таким образом, ее сомнительные права на русский престол повышались, адюльтер маскировал цареубийство.

Я. Л. Барсков находил (вслед за Е. С. Шумигорским), что наиболее «вероятными» родителями Павла I были все же Петр III и Екатерина II (*ЛБ, ф. 369, 375.29, л. 5*).

Восьмилетний Павел был свидетелем дворцового переворота 1762 года, когда его мать отобрала власть у отца.

Автору этих строк пришлось видеть в Центральном государственном архиве древних актов и показывать коллегам документы из секретной папки Екатерины II (*ЦГАДА, р. 1, № 25*), документы, отчасти известные (см. *Бильбасов, II*) и потому мало кем изучаемые *de visu*. А напрасно. Две записки Петра III, где он молит победительницу-супругу о пощаде: круглый детский старательный почерк – возможно, писалось на каком-нибудь ропшинском барабане – и подписано униженным «*votre humble valet*» (преданный Вам лакей) вместо «*serviteur*» (слуга); здесь же третий документ – веселая, развязная записка пьяным, качающимся почерком Алексея Орлова, адресованная «матушке нашей Всероссийской»: «...урод наш очень занемог» и как бы «сегодня не умер».

Кажется, уже «урода» Петра III и придушили (впрочем, мы точно знаем: была в той папке и четвертая записочка, уничтоженная Павлом, где прямо сообщалось об убийстве свергнутого. – См. *АВ, XXI, 430*); меж тем в сохранившейся записке о болезни низложенного царя выдрана подпись – явно екатерининской рукой; на всякий случай – оборонить любимца... К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) «извели»: «Особенно замечательно, как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер» (*Добролюбов, IV, 438*).

Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II – Бецкого. – См. *Греч, 742, комм.*), и таким образом умершие цари самозванно оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали; но царь, считавший самозванцами крестьянских Петров III, сам не был в их глазах правителем «названным» (см. *Клибанов, 155*). И так все запутывалось, что в правительственных декларациях Пугачева однажды нарекли лже-самозванцем, что было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем...

Откровеннейшие документы о гибели своего отца Павел увидел 42-летним. По сведениям Пушкина (а этим сведениям должно верить: поэт очень интересовался сюжетом и сообщил о нем Николаю I), «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, будто государь (Петр III) жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу: жив ли мой отец?» (*Пушкин, IX, 371*).<sup>7</sup>

Настолько все неверно, зыбко, самозванно, что даже Павел-император (не говоря о наследнике!) все же допускает, что отец его жив! И спрашивает Павел о том не случайного человека, но Андрея Гудовича (1741–1820), близкого к Петру III, за это выдержавшего длительную опалу при Екатерине, в 1796 году вызванного и обласканного Павлом (*Шильдер. Павел I, 312; Masson, 189–190*).

Неясная тайна переворота при официальной версии о смерти Петра III от «геморроидальной колики» была потенциальной основой для появления лже-Петров III и как бы соединяла воедино две характерные черты тогдашней политической борьбы: «переворотство» и самозванчество.

---

<sup>7</sup> Сведения поэта достоверны: женою Гудовича была Прасковья Кирилловна Разумовская, родная сестра известной родственницы и собеседницы А. С. Пушкина Натальи Кирилловны Загряжской.

### «Привыкли к переворотам»

Разбирая легкость, с какой был свергнут Петр III и возведена на трон Екатерина, сенатор А. Н. Вельяминов-Зернов восклицал (в 1830-х годах): «Боже мой, какое непостижимое происшествие! Какая тайна, какие обстоятельства, какие отношения, какие поступки были причиною такого необычайного успеха? Но тогда менее этому удивлялись, потому что привыкли к переворотам (...).

Переменить царствующую особу было так же легко, как переменить министра, но переменить министра тогда было труднее, чем теперь» (*ИС, II, 25–27*).

Умный сенатор замечает, что все перемены в российском правлении 1725–1762 годов были серией разнообразных переворотов. Главные заговоры (пять или восемь) по числу свергнутых (и возведенных) императоров или императриц перемежались «малыми» (смена министров или фаворитов): почти всякая перемена сильного человека, как правило, не была в XVIII веке почетной «легальной» отставкой, и Вельяминов-Зернов знает, что говорит, когда констатирует: «Переменить министра тогда было труднее, чем теперь». Теперь – это время Николая I, когда отставка Аракчеева, Закревского, Ливена, Перовского не сопровождалась арестом, ссылкой, шельмованием...

Иное дело – прошлый век. Там переменить – значит, как правило, взять, сокрушить, уничтожить...

Вот неполный перечень «малых переворотов» XVIII века:

1727 год – свержение и высылка Меншикова;

1730 год – свержение Долгоруких;

1739–1740 – арест и казнь кабинет-министра Волынского и его единомышленников;

1748 год – свержение и арест фаворита Лестока;

1758 год – свержение канцлера А. П. Бестужева-Рюмина.

Перевороты на «министерском уровне» дополнялись «губернскими»: арестами и пыткой должностных лиц при соответствующей смене власти... Как характерно, что Западной Сибирью во второй половине XVIII века управлял просвещенный губернатор Соймонов с вырванными ноздрями (следы прошлой опалы).

Внимательный наблюдатель, впрочем, заметит, что если свержение императора было «дворцовым переворотом», незаконным по определению, то «перевороты министерские и губернские» производились ведь по распоряжению монарха, то есть были освящены высшим законом империи. Однако грань между законом и беззаконием была очень зыбкой.

О причинах такого «переворотства» немало размышляли в самой России и за границей.

Прочитав известное сочинение Рюльера с описанием переворота 1762 года, французский король Людовик XVI (явно еще не предчувствуя приближающихся французских переворотов) высказал свою гипотезу: на полях книги к тому месту, где говорится, что солдаты «не выразили никакого удивления низложением внука Петра Великого и заменой его немкой», он написал: «Такова судьба нации, в которой Петр Первый, при всем своем гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора наследника царствующим правителем» (*AB, XI 501*).

Александр Воронцов в ноябре 1801 года убеждал Александра I, что даже верховники с их планами аристократического ограничения самодержавия были лучше, чем самоуправство гвардии: «По крайней мере, не солдатство престолом распоряжалось так, как в последующее время похожее на то случилось. Нет роду правления свойственнее к насилию, как военное. Безмерная власть в руках гражданских имеет, конечно, свои неудобности, но никогда таких насильственных следствий иметь не может, как необузданность военная». Опытный государственный деятель напоминает, что «необузданность преторианцев падением [Римской] импе-



рии кончилась», ибо римская гвардия «не только императоров избирала и свергала», но «кто больше им денег даст, тот и будет императором» (АВ, XXIX, 455).

В литературе неоднократно отмечалось, что дворянство сплотилось, стало избегать «переворотства», боясь ослабить трон и государственный аппарат перед крестьянской угрозой, под впечатлением пугачевщины, Великой французской революции и в страхе перед начинающимся революционным движением в своей стране.

Это, разумеется, верно, существенно, это необходимо учитывать в первую очередь, толкуя об отношениях самодержавия и дворянства.

Однако были еще некоторые причины, породившие как «взрывчатую историю» 1725–1762 годов, так и последующее затухание переворотов, и если определять их максимально общо, можно сказать: желали гарантий.

Петровская централизация, резкий разрыв со старыми, традиционными институтами (Боярская дума, земские соборы, приказы и др.) определили максимальную самостоятельность государства по отношению к своему классу, сословию. Все в конечном счете делалось для своего дворянства; однако, например, абсолютизм Людовика XIV во Франции никогда не мог бы себе позволить таких методов управления, такого уровня приказа и повиновения, какими пользовался Петр I в отношении своего дворянства.

В России много слабее, чем во Франции, было обуздание абсолютной власти старинными традиционными институтами – дворянскими, городскими, церковными.

Исторический опыт показал, однако, что такое громадное сосредоточение власти опасно и для ее носителя, и для самого правящего класса.

Несколько дворцовых переворотов были фактически «гвардейской поправкой» к самовластью. Можно сказать, что дворяне (пусть через свою верхушку, но это в данном случае неважно) в течение XVIII века приспособливали собственное государство к своим нуждам, государство же приспособлялось к ним. Резкий разрыв между дворянством и государством мог регулироваться только теми же «беззаконными», взрывчатыми методами, какими эта политическая система устанавливалась.

Однако легкая смена властителей – это опять же не что иное, как игра тронем между крупнейшими аристократическими фамилиями. Много переворотов – это ведь фактически та же ненавистная олигархия, правление немногих (но не одного!); это для среднепоместного поручика – жизнь с меньшими гарантиями, чем крепкое самодержавство. Пройдет, однако, более 30 лет, прежде чем их желание осуществится.

## 1762–1772 годы

После 28 июня 1762 года на престоле Екатерина II. Дворянство постепенно получает многие искомые гарантии; несколько заговоров в первые годы нового царствования легко пресечены. Перевороты как будто уже не нужны и менее возможны. Однако новая система отношений власти с дворянством утверждается не сразу. Воронцов в уже цитированной записке замечает: «Того умолчать нельзя, что самый сей образ вступления [Екатерины II] на престол заключал в себе многие неудобства, кои имели влияние и на все ее царствование» (АВ XXIX, 459). Раздавались голоса, что все екатерининское 34-летие есть «затянувшийся переворот». Продолжением «28 июня 1762 года» были другие подобные действия царицы против реальных и потенциальных претендентов на трон. Французский посол Беранже докладывал в ту пору своему правительству: «Что зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был ввергнут с престола и потом убит; с другой – как внук царя Ивана увядает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная царевубийством свое собственное царствование!» (цит. по: Герцен, XIV, 372–373).

«Внук» (на самом деле правнук) царя Ивана вскоре ликвидируется; продолжением репрессивных переворотных мер Екатерины II было также тяжкое, многолетнее заключение в Холмогорах отца, братьев и сестер убитого Ивана Антоновича; и наконец, борьба царицы с Павлом и его приверженцами.

Еще выбирая сторонников для переворота 1762 года, Екатерина не раз выступала как бы от имени сына, так что порою создавалось впечатление, будто она претендует только на регентскую роль до совершеннолетия великого князя (см. *Бильбасов, II, 3–4*). Именно в такой «тональности» Екатерина вела переговоры с Никитой Ивановичем Паниным, который был необходим заговорщикам и своим немалым политическим опытом, и особой ролью при Павле: с 1761 года Панин отвечает за воспитание юного принца и с этого времени как бы представляет интересы Павла в сложной придворной борьбе. Не вдаваясь в подробности, отметим, что Павел был для его воспитателя не просто орудием интриги и карьеры: Н. И. Панин мечтал об усовершенствовании российской политической системы, ограничении «временщиков, куртизанов и ласкателей», сделавших из государства «гнездо своим прихотям». Утверждение наиболее естественного, максимально законного монарха (каким Панин считал Павла) было лишь половиной замысла. Одновременно Панин хотел известного ограничения самодержавия императорским советом из 6–8 членов с четырьмя департаментами (иностранных, внутренних, военных и морских дел). Речь шла о зачатке «аристократической конституции» – Панин опирался на шведские образцы (*РИО, VII, 200–221*).

Екатерина дала обещания и насчет прав сына, и насчет «императорского совета», однако очень скоро все было «забыто». Укрепившись на престоле, царица гасила любой намек на временность своей власти и воцарение Павла; вокруг манифеста же об ограничении самодержавия в конце 1762 года шла сложная закулисная борьба, когда царица уже поставила свою подпись, но затем «надорвала» документ.

Судьба наследника и панинские конституционные планы теперь соединяются надолго. Будущий ярый враг всякого ограничения своей власти, Павел Петрович до того в течение нескольких десятилетий представляет главную надежду панинской партии: кроме Никиты Панина с наследником позже сближается его брат, генерал Петр Панин, и близкий к ним человек, один из первых русских писателей, Денис Иванович Фонвизин.

Можно догадаться (по некоторым косвенным материалам), какие «крамольные» сюжеты зачастую обсуждались с наследником на уроках.

В 1830 году Д.Н. Блудов представит Николаю I 11 документов, которые были найдены в кабинете Павла I и среди которых преобладали материалы, касающиеся прав наследования престола, и выписки о незаконности наследования по женской линии (*ЦГАДА, р. VI, № 564, л. 11*).

Любопытно, что выписки произведены Никитой Ивановичем Паниным и вскоре, очевидно к совершеннолетию Павла, будут переданы ему для сведения о его правах.

Екатерина II, конечно, знала, что Павла воспитывают в оппозиционном к ней духе, что Панин и выбранные им учителя (самый известный из них, С. Порошин, оставил знаменитые записки о годах учения юного Павла) осторожно, но постепенно укрепляют в принце сознание собственных прав на престол, интерес к судьбе отца – Петра III; однако, боясь нарушить сложившееся равновесие разных политических сил, царица не решилась отнять у Панина Павла и только все плотнее окружала сына своими «наблюдателями».

В 1772 году сторонники Павла надеются на передачу Екатериной престола своему наследнику, достигшему 18-летия. Надежды не оправдались. Однако борьба продолжалась. Вскоре Екатерина женит Павла на принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, которая после перехода в православие становится Натальей Алексеевной.

Именно к этому моменту относится и тот дневничок наследниц, что цитировался в начале главы.<sup>8</sup>

Молодая великая княгиня сразу пополняет партию, враждебную Екатерине; зато царица, пользуясь совершеннолетием и женитьбой Павла, удаляет от него Панина-воспитателя, предварительно щедро его одарив (*Лебедев, 174*).

Кризис в отношениях двух придворных лагерей нарастает... Мы угадываем новые политические планы Панина – Фонвизина – Павла (об этом несколько позже).

Внезапно доносится голос «остальной России»: во время так называемого Камчатского бунта, возглавленного М. Бениовским (1772 год), повстанцы действуют именем Павла Петровича – призрака лже-Павла...

Многие сочтут весьма знаменательным, «роковым» и появление первых известий о «Петре III» – Пугачеве сразу после свадьбы Павла Петровича (*Державин, VI, 449*).

Если Пугачев – Петр III, то его «сын и наследник», естественно, Павел I.

### Самозванцы

Великая крестьянская война потрясает империю в 1773 и 1774 годах, но зарницы ее и поздние громы наполняют все екатерининское царствование.

Пугачев был одним из почти сорока известных на сегодня самозванцев, принявших имя Петра III\*.

Сочиненная в начале 1790-х годов и уже упоминавшаяся работа «Благовесть» Еленского отмечала «двадцать незаконных лет Екатерины II» (*Клибанов, 304–305*). Даже в царствование Павла I, восстановившего почитание своего отца, все же объявлялся (в Быкове, близ Москвы) некий Семен Анисимов Петраков, называвшийся Петром III, но потребовавший клятвы с посвященных «не говорить до коронации нового государя» (17 февраля 1797 года Павел I отправил Петракова «за обольщение простого народа в Динамюнд в работы навсегда». – *ЦГАДА, р. VI, № 554*).

Последним же из лже-Петров был, очевидно, основатель скопческой ереси Кондрат Селиванов, который, проживая в Петербурге в 1802 году, «не отказывался и не настаивал на своем отождествлении с Петром III, дедом царствовавшего Александра I» (*К. Ливанов, 306*).

Сам эффект народного самозванчества изучался и изучается современной наукой. К. В. Чистовым проанализированы своеобразные условия, породившие такую специфически российскую особенность. В других странах это редкие исключения, в русской же истории XVI–XIX веков три мощные волны самозванчества: царевич Дмитрий, Петр III и Константин (не говоря уже о нескольких самозванцах, именовавших себя именами других царей).

Одной из важных причин этого исторического явления была особая роль царской власти при объединении Руси и ее освобождении от татарского ига. Эта роль заключалась в том, что на определенных исторических этапах монарх (московский князь, царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Пожалуй, ни один, даже самый легендарный, король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, как на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Третьим). Как известно, идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн, присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался в общем однозначно: царь все равно «прав»; если же от царя исходит неправота, значит, его истинное слово искажено

---

<sup>8</sup> Более 20 случаев рассмотрено в капитальной работе К. В. Сивкова «Самозванчество в России в последней трети XVIII в.» (*ИЗ, т. 31*); после того «обнаружился» еще ряд лже Петров III.

министрами, дворянами или же этот монарх неправильный, подмененный, самозванный и его нужно срочно заменить настоящим...

Бесомость католицизма на Западе вызывала ереси как основную идеологическую форму народных движений. В России относительно слабую церковь во многом подменяла верховная власть: для сравнительно менее завоеванного церковью народа царь «заменял» Бога. Важным обстоятельством, усугубившим эту историческую особенность, было усиление в конце XVII и XVIII веков разрыва между народом и клиром: прежде попы выбирались общинами, теперь же государственный контроль резко возрастает, отчуждение духовенства и народа усиливается. Протест, борьба, восстание, естественно, выливаются в царистской оболочке, или (что то же самое, «с обратным знаком») неправильный царь равен дьяволу, антихристу; как тонко замечает современный исследователь, многие формулы и действия Петра I рождали в народном сознании представления, будто «Петр как бы публично заявлял о себе, что он – антихрист». Например, упразднение патриаршества воспринимается как объявление царем самого себя патриархом; произнесение царского имени без отчества – Петр Первый – «несомненно должно было казаться претензией на святость», ибо первые и называемые без отчества – это духовные лица, и т. п. (*Успенский, 286–292*), и уж в народе идут толки, будто «две главы орла – святительская и царская, а третья корона над ними – антихристова».

Своеобразной особенностью самозванства 1770-х годов было использование крестьянским Петром III, Пугачевым, образа, имени реально существующего царевича Павла. Емельян Пугачев на пиршестве, подняв чару, обычно провозглашал, глядя на портрет великого князя: «Здравствуй, наследник и государь Павел Петрович» – и частенько сквозь слезы приговаривал: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». В другой раз самозванец говорил: «Сам я царствовать уже не желаю, а восстанавливаю на царствие государя цесаревича». Сподвижник Пугачева Перфильев повсюду объявлял: послан из Петербурга «от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его Величеству» (см. *Дубровин, II, 143, 225*).

В пугачевской агитации важное место занимала повсеместная присяга Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне, а также известия, будто Орлов «хочет похитить» наследника и великий князь «с 72 000 донских казаков приближается»; уж оренбургский крестьянин Котельников рассказывает, как генерал Бибииков, увидя в Оренбурге «точную персону» Павла Петровича, его супругу и графа Чернышева, «весьма устранился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер» (*там же, 87, 56–57*). Наконец, когда сподвижники решили выдать Пугачева властям, он «угрожал им мстостью великого князя» (*Пушкин, IX, 77*)<sup>9</sup>.

Как же реальный принц отнесся к своей самозванной тени?

Нелепо, конечно, предполагать, будто Павел допускал свое родство с Пугачевым: о характере, целях народного восстания он имел в общем ясное понятие, хотя и не был уверен, что его отец действительно погиб; одним из главных душителей народной войны был близкий к наследнику Петр Панин. Парадоксальность российского XVIII века проявлялась здесь в том, что Панин свою дворянскую оппозицию Екатерине облакал едва ли не в столь же резкие выражения, как Пугачев – свою крестьянскую ненависть, а царица при начале восстания велела московскому главнокомандующему М. Н. Волконскому «приглядывать за Паниным»: она явно опасалась, что тот использует события в своих целях (как прежде подозревалось «подстрекательство» Петра Панина в Чумном бунте 1771 года) (*ОВ, 81*).

Выходило, что Панин (и косвенно Павел) должен был, подавляя восстание Пугачева, доказать тем свою благонадежность. И Петр Панин, мы знаем, очень старался, рвал бороду у захваченного Пугачева; тем не менее в селе Захаровском Камышловской округи рассказы-

---

<sup>9</sup> Согласно показаниям Ивана Федулова, одного из предавших своего вождя, Пугачев кричал: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой Павел Петрович ни одного человека из вас живого не оставит!» И так его связать поопасались» (*Овчинников, 132*).

вали в 1780-х годах, будто староверам покровительствует наследник «и господин генерал Петр Панин, его высочеству отец крестной» (Покровский, 384).

Однако мы не можем не считаться с некоторыми последствиями «пребывания Павла» в лагере Пугачева.

Во-первых, народная молва, известная популярность павловского имени – хотя бы как редкого мужского среди долгой гинеократии, женского правления. Любопытно, что после Петра I раскольников наставники учат: «В вере христианской женскому полу царствовать не подобает, потому что как царь царствует на небеси Бог, то на земле должно быть по образу его» (сообщено автору Н. Н. Покровским).

Распространение лже-Петров III рождало, естественно, определенные фантастические надежды на его сына.

Перечисляя прегрешения Павла, знаменитый Л. Л. Беннигсен, между прочим, сообщал в 1801 году: «Когда императрица проживала в Царском Селе в течение летнего сезона, Павел обыкновенно жил в Гатчине, где у него находился большой отряд войска. Он окружал себя стражей и пикетами; патрули постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобы воспрепятствовать какому-либо неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут, по которому он удалился бы с войсками своими в случае необходимости; дороги по этому маршруту по его приказанию заранее были изучены доверенными офицерами. *Маршрут этот вел в землю уральских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев, который в 1772 и 1773 годах сумел составить себе значительную партию, сначала среди самих казаков, уверив их, что он был Петр III, убежавший из тюрьмы, где его держали, ложно объявив о его смерти. Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков.* Его матери известны были его безрассудные поступки, но она только смеялась над ними и оказывала им так мало внимания, что держала в Царском Селе для охраны дворца и порядка в городе лишь небольшой гарнизон, не превышавший двадцати человек казаков» (ИБ, 1917, V–VI, 546; курсив мой. – Авт.).<sup>10</sup>

Еще интереснее (и свободнее) Беннигсен развивал свою версию перед племянником фон Веделем. Повторив, что Павел собирался бежать к Пугачеву, мемуарист добавляет: «Он для этой цели производил рекогносцировку путей сообщения. Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим» (Ведель, 159).

Строки о «бегстве на Урал», даже если это полная легенда, весьма примечательны как достаточно распространенная версия (Беннигсен в 1773 году только поступил офицером на русскую службу и, по всей видимости, узнал приведенные подробности много позже). Заметим в этом рассказе довольно правдиво представленную причудливую «логику самозванчества», когда сын решается назваться отцом, чтобы добиться успеха (иначе он, по той же логике, должен подчиниться «Петру III» – Пугачеву).

Переплетение разных типов самозванчества тут весьма отчетливо.

Затронутая тема интересна, не изучена, а нам она важна для понимания ряда событий в последние годы XVIII столетия.

Как легко заметить, мы говорим сейчас не только о народном самозванчестве, но и о «верхнем» самозванчестве, свойственном лишь правящему слою. Самовластие, усилившееся после Петра, откровенно поработавшее, но притом употребляющее множество просвещенных терминов о духе времени, благе, законах, – эта система порождает своих «самозванцев».

Несоответствие названия реальности, игра в фантомы – вот самозванчество! Что такое «мертвые души»? Формально это живые люди, которых нет, но которые есть до следующей

---

<sup>10</sup> Часто встречающейся версии о безразличии Екатерины к павловским «потешным полкам» противоречит сделанная Пушкиным со слов потомков А. И. Бибикова (или других достаточно осведомленных лиц) важная запись о больших опасениях и предосторожностях Екатерины II (см. Пушкин, IX, 372–373).

нескорой ревизии. Они (мертвые) невольные самозванцы (одним фактором своего существования в бумагах), а их помещик и государство разыгрывают явившиеся отсюда «самозванные суммы». Чичиков – он же Бонапарт, капитан Копейкин, так сказать, самозванец в квадрате, – куда менее удивителен, исключителен, чем многие полагают.

Споры о том, где мог Пушкин найти знаменитый сюжет, подаренный Гоголю, кажется, надо решительно прекратить. Сюжет был «всеобщим». В раскольничьем документе о «Петре Антихристе» (конец XVIII – начало XIX века), между прочим, отмечается: «Так и начал той глаголемой (так называемый) бог без меры возвышаться, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска, старых и младенцев, живых и мертвых и, облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых дани востребовал» (*Щапов, 568–569*).

Мертвые души – из мира цивилизованного обмана, верхнего самозванства.

И кто же Ревизор, как не самозванец? (Гоголь вслед за Пушкиным, как видим, – большой знаток этой проблематики.) Хлестаков и не хотел, но ситуация буквально заставляет самозванствовать...



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.